

ИГОРЬ СМИРНОВ

«БОРЬБА С СОЗНАНИЕМ»

Александрю Моисеевичу Пятигорскому

Что утопия занята упразднением отчуждения, известно уже из марксистской традиции.

Одна утопия отличается от другой тем, какую форму отчуждения отменяет данный проект жизнеустройства.

Модель государства, построенная Томасом Мором, потому и оказалась исходным образцом для большинства утопий нового времени, что она предусматривала ликвидацию всевозможных (по возможности всех) разновидностей отчуждения. Сыновья, вступая в брак, не покидают родительскую семью. Супружеская неверность карается каторжным трудом. Нельзя бродить из города в город без разрешения властей. Наряжать и украшать себя, дабы выделиться из толпы, не принято. Чужеземцы не уживаются в обществе, из которого изгнана инаковость. Священники возносят молитвы Высшему существу так, чтобы удовлетворить любого верующего, какую бы религию он ни исповедовал. Князья избираются и переизбираются. Войны не влекут за собой отторжения иноземной территории. Золото расходуется на изготовление ночных горшков (мотив, подхваченный у Томаса Мора Лениным). Частной собственности нет и в помине: будь она, как тогда избежать появления бедняков и нищих?

Итак, Томас Мор описывает общество без родовой, семейной, социопространственной, социосимволической, национальной, религиозной, иерархической, территориальной, экономической и тому подобных форм отчуждения.

Правда, он допускает рабство. Рабом становится тот, кто совершает действия, отчуждающие его от коллективных ценностей (кто бродяжничает, бунтует и пр.). Отверженность в ее худшем проявлении выступает как наказание за самоотчуждение индивида от социума.

Утопия, подтвержденная Платоном в качестве одной из возможных тем философствования, получила у Томаса Мора права самостоятельного дискурса. Повышение в ранге было достигнуто утопической мыслью за счет того, что она усмотрела в снятии отчуждения всеприменимый принцип, всеприложимую операцию. То есть операцию, способную стать мироорганизующей, мироохватывающей и потому допускающей одно-однозначное соответствие между текстом и реальностью.

После того, как Томас Мор попытался исчерпать перечень областей, в которых этот принцип может проводиться, перед утопией открылись по меньшей мере два пути эволюции.

Первый — это гипостазирование и абсолютизация какой-то одной из областей, включенных Томасом Мором в его парадигму. Так, Маркс вычленил экономическое отчуждение, чтобы придать ему характер каузирующего прочие формы отчуждения.

Второй путь — дополнение парадигмы, содержащейся в тексте, который задал традицию утопического дискурса. Так, подлинно утопическая задача, по Федорову, состоит в воскрешении из мертвых. Преодоленным должно быть не отчуждение, существующее между живыми, но отчужденность существующих от несуществующих.

То обстоятельство, что утопия делает упразднение отчуждения задачей, поставленной перед человечеством, превращает утопические сочинения в неприемлемые для церкви, которая рассматривает эту задачу как разрешимую для всякого верующего. Церковь снимает экзистенциальное отчуждение, посредуя между Богом и человеком как таковым, и если не игнорирует утопию, то объявляет ее апокрифом (как это имело место в рамках православия относительно, скажем, «Хождения Зосимы к рахманам» — памятника XIV века).

И наоборот: утопия склонна ниспровергать церковь (на деле — по ходу революций — и на словах). Не случайно Ницше обратился к антицерковной проповеди вслед за тем, как завершил утопическое сочинение о сверхчеловеке. В «Антихристе», написанном вдогонку за «Так говорил Заратустра», Ницше упрекал христианство за то, что оно являет собой религию «порабощенных и подавленных». Ницше уличал церковь в том, что она избавляет от отчуждения лишь социально неполноценных, тогда как отчуждение охватывает весь людской род, представляя собой определяющий человека признак, и может быть отринута лишь в той мере, в какой человек преодолет самого себя (еще один пример переосмысления изначальной утопической парадигмы).

Антиутопия (Замятина, Орвелла) конституируется как жанр постольку, поскольку она реабилитирует отчуждение. Антиутопия оценивает позитивно поступки тех, кого Томас Мор наказал рабством. Внебрачная половая связь становится здесь геройством. Антиутопия «исторического авангарда» — это жанр-лицемер, не способный выработать логику, иную, чем утопическая, но тем не менее проливающий крокодиловы слезы над жертвами утопического мышления.

Мучениками как вымышленными, так и реальными. Антиутопия возникла тогда, когда утопическая речь стала претендующей на глобальность социальной практикой. Когда обобщенный бродяга оказался конкретным цыганом, а абстрактный инородец — жидом; когда перевоспитание беспризорников сменилось поначалу «перековкой» преступников, очищением городских улиц от калек, пострадавших во время Второй мировой, а затем, с приходом «оттепели», и охотой на «тунеядцев». Утопический дискурс спасался, отрицая себя перед лицом утопической действительности, спровоцированной претензией текста на то, чтобы охватить одной смыслопорождающей операцией весь человеческий мир.

Массовый террор, сопровождающий реализации утопий, развязывался и развязывается в качестве средства, предназначенного аннулировать те общественные группы, которые конституируются в силу их отчужденного статуса. Террор утопичен. Утопия террористична.

* * *

Понять утопическую речь как отмену отчуждения, — значит, определить тот результат, которого достигает эта разновидность мироотношения. В сфере текстопроизводства результат предполагает намерение. С какой интенцией утопия конструирует общество без отчуждения?

Но тогда: что есть отчуждение? Не есть ли оно свидетельство сознания? И возможно ли сознание без отчуждения?

Если я хочу осознать себя, то сознающее «я» должно дистанцироваться от «я» сознаваемого. Если я надеюсь осознать Другого, то он, следовательно, предполагается в чем-то чуждым «мне». Перефразируя Пастернака, скажем, что сознание является индивиду «в образе неминуемой смерти». Сознание рождается в тот момент, когда «я» обретает способность отрицать самое себя, когда «я» перестает глядеть на себя в зеркале, то есть когда «я» теряет роль

единственно легитимной психической инстанции («зеркальная стадия» в развитии ребенка служит, по Лакану, формирующим началом нашей психики) и признает право на существование за «тенью», за «не-я».

Да простятся автору эти суждения, которые кажутся ему ходовыми. Их было трудно избежать, подводя читателя к мысли о том, что утопия представляет собой критику сознания, отрицание культуры, не делимой на «свою» и «чужую», — культуры в целом. Взятая в этом аспекте, утопия может быть названа антидискурсом. Она борется не с каким-то определенным дискурсом, но с дискурсивностью. Как раз поэтому утопия жаждет смерти искусства — гибели на себя обращенной, внецелевой, неутилитарной дискурсивности («вакансия поэта» в идеальном государстве «пуста»). И поэтому же утопия самоопустошается в эстетически отмеченных текстах — в антиутопических романах.

Есть лишь одна позиция, заняв которую, можно начать критиковать сознание. Культура поддается опровержению только с точки зрения природы. Неспроста Томас Мор так настойчиво подчеркивал «естественность» порядков, установленных в выдуманном им идеальном государстве, которое, между прочим, считало охоту недозволённым промыслом, отправляло рабов на скотобойню и принуждало горожан собирать урожай, выращенный крестьянами.

С социологической точки зрения, утопия — это мятеж деревни против города или ностальгия горожан по земле, по «почве». Носитель утопической программы — лицо, помимо своей воли перемещенное из деревни в город или раздавленное наступлением города на деревню.

Под психологическим углом зрения утопия не что иное, как деградация сознания в сторону первичной психичности: утопически мыслящий индивид отбрасывает себя в «зеркальную» фазу становления психики. У субъекта утопического мира нет объекта, отличного от него самого, — он существует в своего рода антисреде, где объекты потеряны. Иначе говоря, утопия не ведаёт действий; как текст, она не нарратив, а дескриптив.

Субъект утопии попадает в страну зеркал, во всемирную Венецию, которую Хлебников описал в стихотворении «Город будущего»:

О ветер города, размерно двигай
Здесь неводом ячеек и сетей,
А здесь страниц стеклянной книгой (...)
А здесь на вал окутал вал прозрачного холста,
Над полом громоздил устало пол,

Здесь речи лил сквозь львиные уста
И рос, как множество зеркального излома.

«Львиные уста» — это, конечно же, венецианская щель для доносов. «Солнцестан» (так Хлебников именует, вслед за Кампанеллой, утопический город) выстроен из прозрачных домов. Знающий лишь собственное отражение субъект не в состоянии признать право другого субъекта на самостоятельную жизнь.

Первым, кто связал утопию и «борьбу с сознанием», был Достоевский. В «Сне смешного человека» он вывел героя, становящегося все более смешным по мере обретения сознания. Приведем длинную выписку:

«Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее...».

Как явствует из цитаты, сознание, нарастающее по ходу овладения сознанием, отчуждает индивида от него самого и превращает его в предмет самоосмеяния. По Достоевскому, эту ситуацию можно разрешить двумя способами — посредством самоубийства, то есть убийства отчуждаемого сознанием «я», или же за счет возвращения в «Золотой век» человечества — в мир, живущий в согласии с природой и не стремящийся «к познанию жизни», то есть за счет отказа от сознания.

Если утопия критикует сознание, то критика утопии обращается к аргументам, призванным доказать, что сознание автономно, самодостаточно. В статье «Символическое описание», опубликованной в 1922 г. в альманахе «Феникс», Флоренский писал:

«Изображения, выдвигающиеся за плоскость рамы; натурализм живописи до “хочется взять рукой”; внешняя звукоподражательность в музыке;

протокольность в поэзии и т. п., вообще, всякий подмен (так!) искусства имитацией жизни, — вот преступление и против жизни, и против искусства, соответствующее расплывчатости рубежей между научными образами и изучаемой действительностью. Не только оживающий портрет (Гоголь) или отделившаяся тень (Андерсен), но и материализовавшаяся схема науки, вроде, например, ... общественного класса, самоопределившись, могут присосаться к жизни и душить ее».

В этом высказывании знаменательно и то, что инкарнация марксовской утопии порицается наряду с попытками искусства выйти «за рамку», в жизнь (самодовлеющий эстетизм как исходный пункт в полемике с утопизмом), и то, что отец Павел Флоренский повторяет эстетический трактат Ницше «Антихрист», где христианство было заклеено за намерение воплотить абстракции в жизнь (у критики утопий нет иных доводов, нежели те, которыми утопия обосновала критику церкви).

«Современная идиллия» эксплицировала в утопии ее глубинный античеловеческий смысл. Утопия возродилась в доктрине экологического движения, оценивающей человека как злостного эксплуататора природы. Человек плох не потому, что удалился от природы (романтизм), но потому, что свел природу на нет. Природа превратилась из ценностного критерия утопии в отсутствующую ценность. Экологическая утопия отличается от всех остальных тем, что она обнаружила опасность исчезновения утопического идеала.

Не свидетельствует ли это о конце утопического дискурса?